

*Наслаждение быть украинкой:
вдохновение постколониальности
в украинских гендерных исследованиях*

Сергей Жеребкин

**«Национализм и феминизм – одна монета общего пользования»¹,
или «они сражались за Родину»**

Однако в этой сформулированной в названии параграфа общей теоретической, отчаянно провозглашенной (для «нас, украинцев») американским историком украинского женского движения Мартой Богачевской-Хомяк² инновационной стратегии неожиданно обнаруживаются – тем не менее! – штрейхбрейкеры: под патронажем жены (Катерины Ющенко) президента Ющенко современные украинские националистически ориентированные *гендерные исследовательницы* – в частности, авторы учебника Гендерного бюро ПРООН³ – в отличие от героических «стихийных» украинских феминисток прошлого, так называемых «феминисток вопреки самим себе» (как их метафорически называет бесконечно сочувствующая им американская историк Марта Богачевская-Хомяк) в основном предпочитают не акцентировать связь гендерных исследований с феминизмом, специально оговаривая, что гендерные исследования бывают разные – и а) феминистские, и б) нефеминистские⁴. Причиной, возможно, является повышенное чувство ответственности: ведь именно в националистическом феминизме женское, как известно, трагически и безусловно всегда приносится в жертву национальному; кроме того, именно в националистическом феминизме женское используется как основной ресурс для проведения национальных политик – т.е. задействования женских тел для укрепления и/или «опускания» тела нации с целью обострить оскорбленное национальное политическое воображаемое, только тогда способное направить агрессию на «другого» в ведущей националистической дихотомии «мы»-«они»⁵. Возможно, именно поэтому политически деликатные гендерные исследовательницы в

Украине под чутким патронажем Гендерного бюро ПРООН стремятся внести западную политическую корректность в локальные неконтролируемые стратегии современного украинского националистического феминизма для общего снижения неконтролируемой (государством? женой президента? или «другое»?) агрессии в постреволюционном государстве: 1) во-первых, используя нейтральную маркировку «гендерных исследований», и 2) во-вторых, заручившись патронажем (или матронажем?) политкорректной жены президента.

Однако в результате мы должны с точки зрения предпринятой попытки констатировать неутешительное: гендерной нейтрализации – хоть и под патронажем/матронажем – не произошло. Напротив, под влиянием националистических теорий Марты Богачевской-Хомяк и из-за собственных локальных националистических экзистенциальных стратегий в Украине происходит революционный вызов этой официально-бюрократической точке зрения Гендерного бюро ПРООН отчаянно и бескорыстно: из недр собственной культуры, а отнюдь не под «патронажами/матронажами» кого бы то ни было, возникает альтернативный – постмодернистский и постколониальный – проект националистического феминизма, представленный в работах группы украинских литературных критиков и писательниц, создавших в начале 90-х столь же прогрессивную, но уже локальную, что значит еще более революционную украинскую феминистскую критику: по аналогии с западной. Эти имена действительно стоят «на передовой»; и мы должны попытаться осмыслить это титаническое интеллектуальное усилие. Итак, «никто не забыт и ничто не забыто» – ведущий теоретик украинской феминистской критики Соломия Павлычко (1958-1999), литературоведы Вера Агеева, Тамара Гундорова, писательницы Оксана Забужко и Нила Зборовская. Общим тезисом националистического постсоветского феминизма действительно является тезис, что в «состоянии постколониальности»⁶ феминизм и национализм дополняют друг друга, так как «женщины, которые осознали свою принадлежность к колониальной культуре, к культуре угнетенной или недоминантной нации, берут на себя двойное обязательство – бороться против дискриминации как национальной, так и гендерной»⁷. В состоянии постколониальности представительницы украинской феминистской критики в первую очередь актуализуют теорию бинарных оппозиций «колонизатор»-«колонируемый». Но именно она, по их мнению, тем не менее деконструирует классическую бинарную оппозицию: бывший угнетенный, колонируемый выступает в ней не как жертва колонизатора, а наоборот, как субъект более прогрессивный – то есть интеллектуальный и креативный по сравнению с колонизатором. Другими словами, по образному выражению фронтвумен новой украинской националистической идеологии О. Забужко, наступает эффект, когда «колониальное угнетенное» впервые смогло отозваться (откликнуться? на зов власти?) наконец «своим собственным голосом»; а ранее «погасшие» сегменты национальной культуры включились и запульсировали но-

выми смыслами – производя эффект, подобный евангельскому: «мертвые встают, и кривые начинают ходить»⁸. Или – как формулирует в терминах теории деконструкции Деррида С. Павлычко – «словно по схеме Жака Деррида ... маргинальное является центральным»⁹. В результате передовые представительницы новой украинской националистической феминистской критики вновь совершают поистине революционное теоретическое открытие: в постколониальном феминизме, по их мнению, происходит не маргинализация женского внутри политик национализма, а – наоборот: «полностью в соответствии с прославленной формулой Ж. Деррида»¹⁰, как продолжает тезис С. Павлычко О. Забужко, открываются новые возможности: женское как наиболее маргинальное, оккупируя место центрального, становится самым центральным, то есть женщиной как воплощением нации. И именно поэтому женское получает столь вожделенную политическую возможность – играть наконец-то ведущую роль в реализации политик национального возрождения. Именно эту центральную роль в новом национальном воображаемом пытаются отчаянно играть и отчаянно демонстрировать в своем поистине революционном и героическом феминистском националистическом творчестве (направленном против империализма различных консервативных и репрессивных империй) представительницы украинской феминистской критики, создавая многочисленные интеллектуальные бестселлеры по принципу «я, первая женщина, которая...» – как на уровне теоретических научных публикаций, так и на уровне практик литературного творчества¹¹. Мешают выполнению этой центральной политической роли почему-то не «чужие» (империалисты-завоеватели разных типов), но «свои» – захватившая политическое лидерство в нации Юлия Тимошенко и захватившая культурное лидерство в нации Верка Сердючка и т.п.

В то же время новый проект националистической феминистской литературной критики поистине уникален. В отличие от украинского «бюрократического гендера», за много лет произведшего, как уже было сказано, один-единственный «гендерный» учебник, и, в отличие от России и других стран СНГ, где феминистские исследования достигли наибольшего развития в области социальных дисциплин (в социологии, экономике и родственных с ними научных дисциплинах) и были ориентированы, соответственно, на традиционные гендерные задачи – достижение гендерного равенства, женского политического и экономического участия и т.п.¹², перед украинской постколониальной феминистской критикой стояла более значимая политическая задача – проводя «женскую программу разумной деконструкции» (Н. Зборовская)¹³, успешно осуществлять в своем творчестве проект «интеллектуальной деколонизации» (О. Забужко)¹⁴ или, по образному выражению Н. Зборовской, «украинской реконкисты» как «духовного очищения Украины посредством создания надежного парпространства – магии текстов»¹⁵. Другими словами, данная политическая задача – создание в Украине альтернативной реальности/истории *средствами*

литературы как условия преодоления тоталитарной/колониальной травмы. Аналогией данной политической стратегии Н. Зборовская считает альтернативную историю Англии Дж. Толкиена, который в своем «Властелине колец» создал, по утверждению Н. Зборовской, «альтернативную мифологию для Англии, то есть альтернативную реальность, в которой никогда не было поражения, никогда не было Нормандского порабощения»¹⁶. И если бы представители украинской власти и само общество по достоинству оценили женский постколониальный креативный потенциал националистического феминизма как риторики свободы постколониальных субъектов, то, сделав ставку на их уникальный активизм в своей международной политической стратегии (вместо того чтобы делать политическую ставку на спортсменов и звезд эстрады), молодому независимому государству Украине, может быть, не пришлось бы в свое время, по словам О. Забужко, отказываться от ядерного оружия¹⁷.

Конечно, в современной постколониальной теории не раз обсуждались предложенные украинскими националистическими феминистками стратегии «соединения риторики национальной независимости с пафосом создания абсолютно новой реальности средствами литературы»¹⁸. В отличие от аналитического дискурса постколониализма, ориентированного на анализ колониальной травмы и признания собственного участия в терроре и в ошибках собственного прошлого¹⁹, такие стратегии обслуживают то, что называют «состоянием постколониальности» как формы исторической амнезии – то есть «желание забыть» («никогда не было поражения, никогда не было Нормандского порабощения»).

В то же время современный дискурс постколониализма, который действительно уделяет большое внимание психическим последствиям процесса и феномена колонизации (Э. Саид, Г. Спивак, С. Холл), высоко оценивает немифологический, критический эффект этих дискурсов. В частности, критический эффект постколониальной сатиры, представленной, например, в творчестве С. Рушди, О. Памука и других. В этом контексте украинская феминистская интерпретация деконструкции Деррида в вышеназванном смысле – маргинальное является центральным – нарушает основную идею Деррида: ведь теория деконструкции Деррида является как раз критикой центрации и логоцентризма как провокативных стратегий власти-субъекции, чувственно задействующих субъекта для участия в своем собственном подчинении, которые в постколониальных исследованиях, начиная с Франца Фанона, рассматриваются как стратегии постколониальной диалектики раба и господина, в которой положение маргинального субъекта (черного, который хочет занять центральное место белого) является еще более разрушающим (силами зависти и желания, по мнению Фанона) и поэтому даже более зависимым, чем экзистенциальный тупик положения гегелевско-кожевского раба²⁰.

Отсюда теоретический вопрос: что стоит за терапевтическим эффектом «состояния постколониальности» украинской феминистской критики и действительно ли оно позволяет украинским националистическим феминисткам избежать ловушек власти-субъекции и связанной с этим политической манипуляции «вопреки самим себе»?

«Что делать» в контексте националистического феминизма?

В теории постколониальных исследований выделяют два состояния постколониальности как исторической амнезии, которая проявляется в двух основных формах: а) невротическое подавление (*Verdrangung*), которое скрывает резервуар болезненной памяти, и б) психотическое отречение (*Verwerfung*)²¹, которое трансформирует болезненное воспоминание во враждебный бред. В терминах философии постструктурализма первое состояние можно определить как эдипальную стратегию, структурированную через невроз, второе – как антиэдипальную стратегию, в основе которой лежит сознательный отказ от невроза.

Эти две стратегии, на мой взгляд, можно проследить и в украинской феминистской критике, где постколониальная деконструкция украинской культуры как стратегия преодоления тоталитарной/колониальной травмы принимает двойственную форму: или 1) отказа признавать сам факт наличия тоталитарной травмы (О. Забужко, Н. Зборовская), или 2) признания травмы как свидетельства принадлежности к «высокой культуре» (С. Павлычко, Т. Гундорова). Например, распространенной стратегией первого типа является следующая: «травму нам вменили русские, представители российской имперской культуры, которые на самом деле и есть самые травмированные»; советское репрессивное литературоведение вписывало Лесю Украинку, а вместе с ней весь украинский народ, в образ «Великого Больного», создавая из нее «женскую версию Николая Островского» или «безногого летуна Алексея Маресьева»²²; русские сами подвержены психозу (О. Забужко) или, как определяет Н. Зборовская в терминах локального психоанализа, – шизоидному «садомазохистскому психотипу»²³ и т.д. и т.п. Распространенной стратегией второго типа является, напротив, следующая: при помощи психоанализа как одного из «высоких» (наряду с модернизмом) дискурсов европейской культуры открыть травму невротического и в собственно украинской культуре с тем, чтобы повысить тем самым ее статус в целом и от несправедливо приписываемого ей статуса «народной» поднять ее до культуры высокого модернизма, декаданса и т.д. Если в первой стратегии используются стратегии отказа от репрессии в невроз (поскольку национальный невроз украинской прогрессивной «малой» культуре обеспечивают враждебные консервативные «большие» империалистические

культуры), то во второй – напротив, именно открытие невроза является признаком деконструкции украинской культуры в качестве маргинальной, народной («народно-демократической», «селянской», заданной в качестве таковой имперской российской культурой) и ре-конструкция ее в связи с теорией Деррида в качестве центральной, а значит – *аристократической*: «гербовый духовный аристократизм» и «духовное рыцарство дантовского типа»²⁴ О. Забужко, «украинское аристократическое панство»²⁵ Н. Зборовской и др. Именно в этой второй культурной стратегии невроз, по мнению С. Павлычко, «стал ... почти требованием», поскольку «воспринимался как выражение декаданса, самой современной цивилизации»²⁶.

Данная политическая тактика, направленная на то, чтобы маргинальное стало центральным, имеет поистине неожиданные культурные последствия: невроз, то есть признаки невротического стиля в украинской литературе и связанные с ними открытия невротической симптоматики – психических и сексуальных перверсий и девиаций – должны осуществить наконец освобождение украинской культуры от диктата, например, России как Большого Другого. Особая героическая роль в этом общем освобождении принадлежит *женицинам*-писательницам: поскольку в классическом фрейденом психоанализе невроз – характеристика женской субъективности, то фокусирование современной украинской националистической феминистской критики на украинскую женскую литературу прошлого на примере творчества украинских женских классиков Леси Украинки, Олены Пчилки (матери Леси Украинки) и Ольги Кобылянской должно неизбежно подтвердить искомый статус невротичности как статус принадлежности к «высокой культуре» – культуре «высокого модернизма», *fin de siècle*, включающей «нищанство, декаданс и т.д. и т.п.» и образующей украинский «модернизм с женским лицом»²⁷. С. Павлычко, по видимому, принадлежит в этом контексте особая роль идеолога борьбы с народно-демократической традицией как идеолога украинского аристократизма: ведь это экзистенциальный дискурс так называемой «великой русской литературы» Толстого и Достоевского явился, по мнению исследовательницы, основным инструментом репрессии украинской литературы в «низкий» статус «народно-демократической». Против чего и должен сражаться украинский помеченный знаками невроза литературный аристократизм, идеальным воплощением которого критик считает украинский модернизм.

В этом общем поступательном движении, направленном на то, чтобы маргинальное стало центральным, по мнению С. Павлычко, необходима одновременная модернизация/аристократизация и традиционного украинского национализма, который за счет введения в него проблематики феминизма, сексуальности, телесности и гендера (с его понятиями множественной и гибридной структуры субъективности) может стать, во-первых, более либерально-демократическим и, во-вторых, лучше соответствовать современным постмодернистс-

ким условиям²⁸: феминизм, использующий передовую социальную и политическую западную методологию, с точки зрения С. Павлычко, может стать для выполнения миссии аристократизации национализма «очень неплохим инструментом»²⁹.

Что является результатом таким образом понимаемой деконструкции? Что в результате становится новым «центральным» в украинской культуре? Таким центральным становятся все присущие новому пониманию украинского модернизма/аристократизма формы женской перверсивной сексуальности, выраженные прежде всего в женском творчестве – гомоэротизм и садомазохизм (в творчестве О. Кобылянской в исследованиях С. Павлычко и Т. Гундоровой), гендерная меланхолия (в творчестве О. Кобылянской в исследованиях Т. Гундоровой), лесбийская сексуальность (у О. Кобылянской и Леси Украинки в исследованиях С. Павлычко и Т. Гундоровой), истерия (у Леси Украинки), мазохизм (у О. Кобылянской), трансгендерность (у О. Кобылянской), квир-идентичность и квир-сексуальность (у О. Кобылянской и Леси Украинки), гибридная идентичность (у О. Кобылянской) и т.д. и т.п.: если данные характеристики женской идентичности в западной феминисткой теории актуализируются в качестве центральных только сегодня, то в творчестве украинских женщин-писательниц и в украинской культуре в целом они, как оказывается, всегда присутствовали в качестве центральных, что не является, конечно, указанием на «народность» их носительниц. По мнению и мужских украинских исследователей, украинская культура имеет своих собственных «титанов соромицького [непристойного – С.Ж.] дискурса»³⁰, исключенных из рассмотрения тоталитарным имперским советским дискурсом. В многочисленном креативном потоке произведенной в последние годы женской исследовательской литературы, посвященной писательницам прошлого, обнаружены в качестве центральных даже такие радикальные доэдипальные формы женской самореализации как «номадизм», «становление-животным» (которые Т. Гундорова обнаруживает опять же у О. Кобылянской), «сестроубийство» (которые Н. Зборовская обнаруживает у О. Забужко) и т.п.

Однако радикальная политическая замена после крушения империализма и Оранжевой революции Большого Другого с востока на запад создает в этом потоке свои дискурсивные сложности, а именно – новые критерии для невроза, которым соответствовать сложно, поскольку, по признанию Н. Зборовской, в украинской литературе было всего «две украинских истерички» (мать и дочь Косачи – Леся Украинка и Олена Пчилка), и одна меланхоличка (Ольга Кобылянская³¹).

В результате несмотря на феминистский идеологический оптимизм С. Павлычко («важно, что эти идеи [Ницше и Шопенгауэра] обговаривались»³²), которая действительно впервые в украинской культуре обнаруживает лесбийские отношения как феномен (между Лесей Украинской и Ольгой Кобылян-

кой), с целью лучшего соответствия новым западным теориям Большого Другого нового дискурса неосексуальности ей приходится радикально изменить предмет своего феминистского исследования украинской культуры – вместо исследования женской сексуальности обратиться к мужской, выделив в качестве идеального *par excellence* невротика украинской литературы не женского, а мужского субъекта – украинского академика-востоковеда и второстепенного литератора Агатангела Крымского (1871-1942). В отличие от вышеназванных женщин, которые больше всего хотели быть «нормальными», Агатангел Крымский специально подчеркивал свой невротизм – *psychopatia nationalis* как идеологическую программу национализма и даже рассматривал его как условие современной личности (*à la* Достоевский, Оскар Уайльд и др.). Именно Крымский уже не бессознательно, но сознательно по сравнению с женщинами-писательницами, по мнению С. Павлычко, вводит невротический стиль в украинскую литературу («его рассказы передают нервную неуверенность автора, которая не покидает его, про что бы он ни писал»³³), принципиально отличающийся от реалистического стиля, присущего украинским писателям-народникам (например Панасу Мырному или Ивану Нечуй-Левицкому).

С. Павлычко вынуждена признать, что именно мужской украинский субъект (Крымский) по сравнению с украинским женским идеально не похож на персонажей украинской народно-демократической реалистической литературы. Он по-настоящему «сложный и нервный», то есть национальные чувства у него проявляются не просто в форме народно-демократической сентиментальной любви к Украине (как у украинских писателей-реалистов), а в сложной патологической форме националистического невроза – *psychopatia nationalis* по аналогии с *psychopatia sexualis* Рихарда Крафт-Эбинга. Этой форме невроза национализма посвящен специальный, по свидетельству С. Павлычко, рассказ Крымского «*Psychopatia nationalis*» (1890). Гибридность этой сложной фигуры мужского националистического субъекта подчеркивают и обнаруженные исследовательницей факты, что, будучи ориенталистом (С. Павлычко здесь проводит аналогию с понятием «ориентализма» Э. Саида), Крымский является латентным гомосексуалом. Именно поэтому, по мнению исследовательницы, Крымский идеально соответствует модели субъективности, предложенной локальной культуре западным Большим Другим, – множественной, гибридной, основанной на различии и т.п. Коллизия указанного рассказа Крымского, например, заключается в том, что его автобиографический герой, живущий в Москве, безумно любит Украину, украинскую культуру и природу. «Герой/автор плачет, – пишет С. Павлычко, передавая невроз Крымского в его рассказе «*Psychopatia nationalis*», – когда слышит украинскую речь в Москве, когда слышит ее в Курске, он в полном аффекте, когда звучит украинская песня, он подслушивает разговоры в поездах...». В то же время парадокс трагического националистического невроза героя состоит в том, что он ненавидит реальных

украинцев, речь которых «подслушивает» в поездах. Именно этот факт диагностирует С. Павлычко: «...и часто ненавидит своих случайных спутников, если они не отвечают его представлению об идеальных украинцах. Он почти в экстазе на киевском вокзале: вокруг звучит украинская речь, мелькает селянская одежда. Следующая сцена – автор снова в отчаянии. Он наблюдает за сексуальной развязностью молодых украинских рабочих, которые едут с заработков и пугается такой “Украины”»³⁴. Таким образом, националистическая любовь героя к Родине осуществляется в соответствии с известной лакановской формулой обсессивного невроза любви – «я так люблю тебя... что должен покалечить тебя».

Для того чтобы доказать невротическую сложность и аристократизм национальной структуры субъективности Крымского, С. Павлычко осуществляет его психоанализ и стремится выявить травматическое переживание отношений с матерью (глава «Конфликт с матерью»), которое, по ее мнению, является причиной невроза героя. И действительно, невроз близости с матерью и ее утраты является одной из ведущих причин классического фрейдовского невроза; фрейдовская проблематизация сексуального влечения к матери или лакановская проблематизация разрыва с матерью в философской литературе в качестве иллюстрации часто приводит пример отношений с матерью, описанный Прустом, болезненно переживающим ситуацию интимной близости с матерью. Однако результатом психоанализа С. Павлычко мужского идеального националистического гибридного субъекта Крымского и его отношений с матерью является, с одной стороны, обнаружение этих отношений как глубоко травматических; но, с другой стороны, в отличие от героя Пруста, Крымский страдает не от болезненного переживания близости с матерью, а от необразованности, простонародности, «некультурности» своей матери: «У меня нет ничего общего с ней. Я продукт современной цивилизации, я дегенерат, я декадент, я человек *fin de siècle*, я неврастеник, а она – она такая некультурная баба, что даже неврастению не нажила... хотя у нее и эпилепсия» (121). Отторжение от матери выражается в его автобиографической прозе как чувство обиды за то, что она неспособна переживать невроз как атрибут культуры высокого модернизма, а психическая болезнь, которой она страдает, принимает у нее форму простой физиологической патологии – эпилепсии.

Отсутствие у матери высокого невроза и наличие у нее эпилепсии становятся для автобиографического героя Крымского Андрея Лаговского (*альтер эго* Крымского, по словам С. Павлычко) знаком отсутствия материнского: «...вся наша семья как-то не удалась: папа... но я уже много писал про него... мама – я ее очень люблю, но она бедная необразованная женщина, люблю я тебя и очень, но матери у меня нет...»³⁵. В результате отношения с матерью переживаются Крымским не как травма утраты (как в структуре меланхолического субъекта, описанного З. Фрейдом и Дж. Батлер), а как травма нехватки (кон-

ституирующая субъектов желаний, описанных Александром Кожевом в его знаменитой интерпретации гегелевского самосознания как желания). Экзистенциальные переживания субъектов желаний, как показывает Кожев, действительно предельно мучительны – не в меньшей степени, чем экзистенциальные переживания хайдеггеровских субъектов заботы и вины. Однако принципиальное отличие кожевских экзистенциалов от хайдеггеровских заключается в том, что они не маркированы переживаниями вины, но только – неутолимым чувством нехватки как нехватки признания. Крымского, как и его героев, по словам С. Павлычко, «мучат разнообразные, происходящие от политических размышлений чувства: отчаяние, злость, безнадежность, муки сомнения от собственной бездеятельности»³⁶. В то же время даже в связи с политической ситуацией – например тоталитарным «совком» или тоталитарным империализмом – Крымский и его герои никогда не испытывают хайдеггеровских чувства вины, мук совести, раскаяния, а напротив, испытывают чувство собственного превосходства (в качестве неврастеника) как 1) над «некультурными» простонародными украинцами (собственной матерью), так и 2) над дикими восточными народами, которых Крымский изучает в качестве востоковеда, и чему С. Павлычко дает прогрессивную постмодернистскую, на ее взгляд, маркировку «ориентализма». Но разве расистское отношение Крымского к восточным культурам, которое С. Павлычко вынужденно, под механическим влиянием западных концепций определяет как прогрессивный ориентализм, является «прогрессивным» и «демократическим»?

Одного катастрофически не хватает заслуженному академику Крымскому – всенародного публичного признания. Именно поэтому он сентиментально плачет, когда или читает положительный отзыв на свою статью («однажды, прочитав позитивный отзыв на свою научную работу, он не смог сдерживать нервного приступа»³⁷), или в первые годы ненавистной советской власти обнаруживает листовки с собственным портретом («...Я случайно увидел в продаже листовки с моим портретом, ... купил одну и, севши в вагон, расплакался»), при этом забыв почему-то весь свой высокий невроз национализма. Именно за известное в философии кожевско-гегелевское признание академик Крымский наравне с персонажами гегелевской диалектики раба и господина готов вести битву не на жизнь, а на смерть – как не на жизнь, а на смерть сражался он со своим главным соперником в украинской Академии наук Михаилом Грушевским: пока их одного за другим не арестовало ГПУ. Парадоксальным политическим фактом при этом оказывается тот удивительный политический факт, что классический героический идеальный украинский националист, более того – националист в прогрессивном виде *psychopatia nationalis*, в интересах собственной борьбы за общественное всенародное признание формулирует, что он, как оказывается, давно уже – «убежденный коммунист»³⁸. «Сегодня в протоколе, – записал шокированный заявлением Крымского его ближайший соратник по

Академии наук Сергей Ефремов, – Крымский записал свое заявление, что он уже давно – коммунист. Не пойму, зачем ему это понадобилось...»³⁹.

Таким образом, проведенный С. Павлычко с целью «поднятия» идеологии националистического феминизма на примере жизни и деятельности мужских субъектов психоанализ перверсивных модернистских отношений Крымского с матерью, с близкими и коллегами, а также его публичные практики перверсивного желания/сексуальности и «ориентализма» (как перверсивного желания, в рамках Академии наук ставшего из «маргинального» – «центральным») демонстрирует, что желание в структуре субъективности Крымского функционирует не как семейно-эдипальное, а, скорее, как до- или антиэдипальное, которое в современной философской литературе описывается не в терминах классического фрейдовского невроза, а в терминах делезовской логики становления, констатирующей парадоксальные ассамбляжи, когда «одна часть машины захватывает в свой код фрагмент кода другой машины» типа знаменитого шизоассамбляжа «оса-орхидея» в *Анти-Эдипе*, который в случае Крымского проявляется как поистине новый революционный шизоассамбляж – «националист-коммунист». Именно им был шокирован традиционный украинский ученый-националист Сергей Ефремов, ретроградно мыслящий в терминах бинарной логики «мы-они» классического национализма и не способный мыслить в терминах постмодернистской логики смысла, так результативно продлившей жизнь Крымского в условиях ненавистной советской власти.

Но даже если бы С. Павлычко удалось доказать, что Крымский – идеальный националистический субъект желания в лакановско-кожевском смысле, т.е. субъект, заключенный в экзистенциальный тупик гегелевско-кожевой диалектики раба и господина, значило бы это соответствие западной теории постколониализма, ориентированной на преодоление диалектики раба и господина? Не говоря при этом о том деликатном аргументе, что вряд ли апелляция «в пользу феминизма» к мужскому национальному субъекту соответствует феминистской концепции женской субъективности, предполагающей критику лакановской модели (женского) невроза и (женской) сексуальности?

Как альтернатива агрессии обсессивного невроза нехватки в украинской феминистской критике, очень своевременно осуществляется установка на выделение формы сугубо женского, фемининного невроза – *меланхолии* с надеждой на то, что он может и не быть таким brutальным, как *psychopatia nationalis*: с одной стороны, чтобы он в рамках политкорректности не содержал скрытой агрессии, но в то же время сохранял характеристики невроза как формы высокой культуры – «модернизма, декаданса и ницшеанства». Именно эту назревшую в политическом смысле литературоведческую стратегию по аналогии с прогрессивным западным постмодернизмом и его постмодернистским жаргоном реализует в своих работах Т. Гундорова, выделяя для этого особую высокую конструкцию украинской *femina melancholica* (в отличие от грубого поня-

тия украинской *femina postsovietica*, использованного когда-то авторами ХЦГИ для описания практик политической субъективизации в советской и постсоветской Украине). Идеальной националистической *femina melancholica* оказывается наконец-то не мужчина (Крымский), а женщина – вновь украинская классик Ольга Кобылянская (1863-1942), обладающая теперь уже совсем другими характеристиками и как женщина, и как писательница. В отличие от поддерживаемых С. Павлычко модернистских стратегий духовного аристократизма как воинственно-маскулинных, ассоциирующихся с ницшеанством и дионисийским началом, характеристиками которого являются «волонтаризм и даже brutality»⁴⁰, *femina melancholica*, по лояльно-политической академической мысли Т. Гундоровой, – это воплощение аполлонического начала в культуре украинского модернизма, которое реализуется не в жестокой маскулинистской brutality, а в идеалах женской духовной эмансипации и платонической женской дружбе-коммуникации (как у О. Кобылянской и Леси Украинки – в отличие от приписываемого им С. Павлычко физиологического лесбийства)⁴¹, и которое развивает эту «гендерную утопию» как «фемининную» версию украинского национализма, ориентированную на «меланхолию высокой модернистской культуры» в отличие от его маскулинной («донцовско-вестнической») версии, ориентированной на «эротический витализм воинов-завоевателей, а также на покорение феминизированной (меланхолической) украинской литературы»⁴².

Вместо буквальной биологической женской телесности, которую продвигает дионисийский-маскулинный модернизм-национализм (женская истерия как выражение биологической сексуальности и биологического материнства)⁴³, *femina melancholica* в политически нейтральной концепции Т. Гундоровой реализует сублимированную женскую телесность, репрезентированную в культуре, то есть в текстах: перверсивная сексуальность на уровне текстов – сублимированная истерия, женское текстуальное, а не реальное безумие и т.д. Все эти многочисленные формы женской телесности и перверсивной сексуальности Т. Гундурова находит в текстах Ольги Кобылянской, которые традиционно считались образцом реалистично-сентименталистского стиля. Однако – несмотря на конечную цель исследовательских задач – вслед за С. Павлычко Т. Гундурова представляет О. Кобылянскую как писательницу, которая задолго до современной западной феминистской теории «осуществила анатомию женской сексуальности, включая ее различные перверсивные состояния, как, например, мазохизм, нарциссизм, лесбийская эротика»⁴⁴. Более того – задолго до *Орландо* Вирджинии Вулф реализовала принцип гендерной перформативности и трансгендерности в литературе⁴⁵, а также реализовывала проект украинской «малой литературы» (в смысле «малой литературы» Делеза и Гваттари), являясь по-настоящему маргинальной и гибридной фигурой (украинско-немецкие корни) в украинской литературе⁴⁶ по сравнению с самим польско-татарским

Крымским. В результате всю жизнь прожившая в провинции Кобылянская в дополнение к ведущей характеристике фемининной меланхолии высокой культуры также обладает делезовским «женским номадизмом» (таким же, как почему-то и Лу Андреас Саломе?)⁴⁷, делезовским «становлением-животным» (как почему-то одной из характеристик мазохизма Кобылянской⁴⁸?). Данные характеристики с энтузиазмом называются «гендерной утопией», которую, оказываясь, прожившая скучную безвыездную жизнь Кобылянская осуществляет как феминистский и постколониальный проект – в духе антиимпериалистической западной феминистской литературной критики.

Такой оптимизм Т. Гундоровой в отношении гендерной меланхолии диссонирует с критическим отношением к гендерной и постколониальной меланхолии, которая была проанализирована в работах феминистских (Дж. Батлер⁴⁹) и постколониальных теоретиков (Х. Баба, П. Гилрой⁵⁰ и др.). Как известно, данные теоретики, развивая разработанную Фрейдом в «Скорби и меланхолии» психоаналитическую концепцию меланхолии как случая интериоризированной агрессии, (когда «гнев на другого ... обращается внутрь и становится сущностью самопорицания»⁵¹), пришли к выводу, что меланхолическая идентификация – это серьезное препятствие для новых социальных движений. Если меланхолик, по словам Хоми Баба, «инвертирует на себя обвинение, которое он предъявил бы другому»⁵², то это означает, что агрессия по отношению к другому не преодолена, а инкорпорирована в структуре меланхолии. Отсюда вывод – «меланхолия является не формой пассивности, но формой бунта»⁵³. В результате эта практика инверсии позволяет государству – как в эффекте интерпелляции субъекта в политических идеологиях – «перехватывать мятежный гнев», что Х. Баба определяет как эффект «дезинкорпорации Господина»⁵⁴ и что Дж. Батлер называет эффектом власти как субъекции: когда интерпеллированный властью субъект активно участвует в своем собственном подчинении⁵⁵. Именно этот механизм Батлер рассматривает в «Меланхолийном гендере» на примере инкорпорации гомосексуальной меланхолии. Поэтому проект гендерной меланхолии, который реализуют, в частности, геи и трансвеститы, например в создании коллективных институций и ритуалов публичной скорби по тем, кто умер от СПИДа и др., как доказывает Батлер, не может быть спасительно-альтернативным по отношению к действиям власти (проводящей политики культурного запрета и пресечения скорби и горестного переживания). Напротив, удваивая гнев от утраты в силу продолжающегося непризнания, этот проект выступает, скорее, как проект, усиливающий позиции власти как субъекции: через действие участия субъекта в своем собственном подчинении. Именно поэтому он не может состояться как проект сопротивления репрессивным гендерным политикам, т.е. как эффективный феминистский проект.

Не в этом ли, раскритикованном Батлер, направлении теоретического феминистского анализа Т. Гундорова – как показывает ее анализ позднего творче-

ства Кобылянской – квалифицирует женскую агрессию и крайние формы женского насилия (такие как убийство женой мужа-алкоголика, свидетелем которого становятся их дети в рассказе Кобылянской «Огривай сонце...», или отравление безумной девушкой своего возлюбленного, чтобы убить зло, которое поселилось в нем, в повести «У неділю рано зілля копала») как нормативный феминистский жест? И действительно, Т. Гундорова характеризует сюжетную ситуацию в рассказе «Огривай сонце...» (когда жена зарезала мужа) как «ярко выраженную феминистскую тенденцию»⁵⁶. Однако в таком случае феминистская исследовательница как бы не учитывает, чем логически отличается провозглашенный ею самою 1) «фемининный меланхолический аполлонический модернизм» от «маскулинного brutального дионисийского модернизма» и 2) чем фемининная версия национализма принципиально отличается от маскулинной версии.

Могут ли нас удовлетворить предложенные ответы?

Идеологическим ответом на данные затруднения и логические тупики является постколониальная стратегия психотического отречения от тоталитарной/колониальной травмы (*Verwerfung*), основывающаяся на логике тотального исключения Другого из структуры субъективности, описанной Жилем Делезом и Феликсом Гваттари в *Анти-Эдипе* (делёзовский «мир без другого»), наиболее образно представленная в работах украинских писательниц-феминисток Оксаны Забужко и Нилы Зборовской, которые в своих теоретических и литературных текстах стремятся показать, что тоталитарная травма не составляет подлинную сущность украинской культуры, не является эссенциальной, а перформативно производится/вменяется имперскими российскими культурными политиками. В этом смысле вышеназванное «лесезнавство» посредством репрессивного советского литературоведения производит перформативно фигуру Леси Украинки как фигуру «Великой Больной» – (О. Забужко), в то время как основной политической задачей сегодня – как формулируют в своих последних книгах О. Забужко и Н. Зборовская – становится необходимость осуществить реконструкцию скрытой подлинной сущности украинской культуры – ее «тайного кода»⁵⁷ как истории, например, украинского гербового духовно-кровного «лыцарства дантевского типа» (О. Забужко) или «аристократического украинского панства» (Н. Зборовская). В результате установка на открытие в украинской культуре невроза «высокой культуры» изменяется на прямо противоположную: она состоит теперь в том, чтобы деконструктивистски перечитать историю украинской литературы, однако, в отличие от Т. Гундоровой и С. Павлычко, не для того, чтобы найти в ней психическую травму, невроз, исключенный из общего дискурса высокой культуры российскими или другими

имперскими культурными политиками, а с целью, во-первых, показать, что никакой изначальной травмы в украинской культуре «не существует»: ее вменили русские, репрезентирующие «шизоидный садомазохистский психотип» (Н. Зборовская), а во-вторых, создать средствами литературы альтернативную украинскую историю, или «абсолютно новый мир»⁵⁸ «без поражений». Радикальной инновацией антиэдипальной постколониальной украинской националистической феминистской критики является радикальное освобождение от большого Другого – не только от России, но (в отличие от С. Павлычко и Т. Гундоровой, сохраняющих культуру Запада в качестве нового большого Другого) и Запада, который, как утверждает Н. Зборовская, воздействует на современную украинскую культуру, формируя в ней нехватку с помощью современной философии. В частности – философии постмодернизма, которая, как оказывается, «провоцирует украинский психотип к мазохистской перверсии»⁵⁹.

«Радикальная психотическая реинтерпретация» (М. Рыклин)⁶⁰ украинской истории осуществляется в этой новой стратегии украинской националистической феминистской критики, во-первых, посредством лишения колонизаторов преимущества в сфере символического: реализуется не дискурсивная критика «мощи монстра» (Ж. Рансьер), а шевченковское «оскопление российского империалиста (москаля)» (Зборовская)⁶¹. Во-вторых, в виде доказательства, что в России нет и не было ни дворянства (потому что не было шляхты), ни интеллигенции (которая была деклассированной), ни «великой» литературы⁶² («невыездной из России Пушкин» не знал, что «субтропическая ночь никогда не пахнет лимоном» (О. Забужко))⁶³.

В противоположность «холопской истории» русских у украинцев всегда существовал «европейский тип интеллигенции, порожденный козацко-шляхетской традицией»⁶⁴, в основе которого лежит «аристократический этос козацкого нестяжательства»⁶⁵, которого «у цезаристской Московии, где церковь всегда была *государственным институтом*, никогда не было и не могло быть по определению»⁶⁶.

Большую роль в этой реинтерпретации играет тот идеологический тезис, что колонизаторы рассматриваются не как откровенные агрессоры, а как скрытые коварные соблазнители («москаль-искуситель» Н. Зборовской⁶⁷), использующие примитивные садомазохистские стратегии соблазнения и провокации аристократически слабых и неискушенных – несмотря на природную сексуальную перверсивность и гибридность, доказанные С. Павлычко и Т. Гундоровой! – украинцев, не давая своими примитивными имперскими сексуальными политиками состояться украинскому сложному и перверсивному национальному/идеологическому аристократическому самосознанию. В результате в отличие от примитивных «москалевских» героев типа Александра Матросова или действительно примитивного «летуна» Маресьева (едко высмеянного, например, Пелевиным в «Омон Ра»), примитивно жертвующих своей жизнью ради

примитивных социально-политических идеалов, украинская аристократическая идеология вынуждена занимать мазохистскую позицию – позицию жертвенного отказа от своего национального аристократического «кода» украинского панства. «Провокация украинского психотипа к мазохистской перверсии, – пишет Н. Зборовская, – такой была психологическая программа российского империализма в отношении колониальной украинской нации, потенциально неисчерпанной своей исторической памятью»⁶⁸.

Первоначально, по мнению Н. Зборовской, стратегии колониального соблазнения применялись к Украине «великой русской литературой» – Пушкиным, Достоевским и т.д. и т.п. В современных условиях этим «национальным соблазнением» (типа Печорина, соблазняющего Беллу?) занимаются современные русские постмодернисты, парадоксально начиная при этом почему-то с русских формалистов и М.М. Бахтина⁶⁹. Вследствие этих изощренных поэтапных провокативных стратегий культурного соблазнения вначале, по мнению Н. Зборовской, 1) «несознательное украинское народничество, пребывающее в идеологической тени российского, набросило на образ Шевченко опасно угрожающую маску печального кастрата»⁷⁰, а потом 2) «психологическую инфекцию карамазовщины подхватил украинский народ, превращаясь в преступный народ»⁷¹. Оставим без вопросов инновационную наивную оптимистическую уверенность автора, что «народ» (любой) можно превратить в «преступный народ». Последуем автору дальше в ее инновационных бескомпромиссных утверждениях, что и сейчас современные украинские писатели (в частности, теоретически невинные и националистически жертвенные Ю. Андрухович и другие участники авангардной литературной группы Бу-Ба-Бу) оказались спровоцированы «мировоззренчески опасной коммун-имперской бахтинской идеей карнавализации культуры»⁷². Причем эту новую поросль соблазненных советских/постсоветских наивных националистических интеллектуалов, по мнению Н. Зборовской, особенно стоит пожалеть за то, что в новых стратегиях имперского/колониального соблазнения используются современные западные постмодернистские теории – и прежде всего французский постструктурализм, культивирующий 1) «шизоидный характер, присущий имперскому субъекту»⁷³, 2) по инфантильной логике которого «действовала российско-имперская психополитика, стремясь ослабить украинский объект, который мощно формировался на переходе прошлых столетий»⁷⁴.

Феминистская направленность этого антиэдипального проекта постколониальной деконструкции русской имперской культуры выражается в том, что центральной фигурой аристократической истории украинства становится женская фигура – в частности, Леси Украинки. О. Забужко характеризует ее как «нашу льцарессу»⁷⁵ – аристократку не просто по духу, но и по крови. Эта последняя этнически-биологическая характеристика служит не только «последним аргументом» украинского этнического феминизма, но и является последним

аргументом этнически-биологического аристократизма. В итоге Леся Украинка на фоне русских империалистических «самозванцев» – поистине «последний свидетель»: «очевидец и трубадур погибшей многовековой культуры украинского рыцарства»⁷⁶.

В результате О. Забужко кроме «аристократического» приводит и «феминистский» аргумент в интерпретации субъективности Леси Украинки: в отличие от образа «Великой Больной в одинокой постели», сформированного в советской литературной критике, она репрезентирует ее как «одну из здоровейших фигур» в украинской литературе: «В этой жизни, – пишет О. Забужко, – была редкостная удача, которой позавидовал бы каждый европейский поэт, начиная с эпохи романтизма! – ...смерть “мистического жениха” (С.К. Мержинского) на руках у героини в Минске зимой 1901 г. и ее “инициация потусторонним” (схождением за ним “в мир мертвых”...)»⁷⁷. Идентифицируясь с этой аристократической традицией украинского женского письма, Н. Зборовская и О. Забужко рассматривают феминистскую традицию в украинской женской литературе как опыт духовно-кровной аристократической национальной преемственности: О. Забужко маркирует именно себя как «четвертую Лесю» (после Лины Костенко и Олены Телиги)⁷⁸, как «поэтессу трагического мироощущения», на которую в ее советском детстве «княжность» встреченной случайно украинской аристократки (знакомой Леси Украинки) произвела настолько сильное впечатление, что советская школьница даже забыла ...сделать книксен⁷⁹. Оказывается, именно книксен как ритуал национального воображаемого утверждает себя в качестве аристократического ритуала, противостоящего плебейской «власти масс», которая, по словам О. Забужко, репрезентирована «в чистом виде» не только в Октябрьской, но и украинской Оранжевой революции⁸⁰.

Однако несмотря на аристократические национальные стратегии тотального уничтожения Большого Другого, в работах представительниц антиэдипального постколониального состояния тем не менее сохраняется специфическая ситуация гендерной *тревоги*, симптомом которой является *беспокойство*, вызванное ощущением возрастающей угрозы *внутреннего* врага, ставящего под вопрос вышеназванную аристократическую стратегию украинской духовно-кровной преемственности как аристократического «сестринства». Если в националистическо-феминистских стратегиях С. Павлычко присутствовала установка на отказ от сотрудничества с женщинами СНГ, базировавшаяся на националистической интерпретации феминистского принципа различия («Того, что “мы все женщины”, – писала С. Павлычко, – мало, чтобы женщины коммунистической или национально-демократической ориентации объединились в одну организацию. Так же точно этого мало для альянса, например, женщин Украины и России или СНГ. ...Отличия между ними имеют национально-политический характер»⁸¹), то современный украинский националистический фе-

минизм характеризуется уже отказом от сотрудничества и с различными категориями украинских женщин, которые маркируются как представительницы «имитационного» национализма и патриотизма – даже если они, по мнению Н. Зборовской, пишут на украинском языке и репрезентируют себя как националистки⁸². Как формулирует Н. Зборовская, «в постколониальный период выбор украинского языка не может определять статус украинского писателя как носителя кода этой литературы (творчество О. Ульяненко, О. Забужко)»⁸³. Если Н. Зборовская заявляет о необходимости «провести различие между нациосо-зидающим и имитационным субъектом» в украинской литературе, к которому она относит, в частности, «имитационный патриотизм» О. Забужко, то О. Забужко – в свою очередь – обеспокоена угрозой скрытого внутреннего «большевизма» украинских женщин-писательниц старшего поколения. В результате она находит у советского украинского женского классика Лины Костенко, которую ранее относил к аристократическо-сестринскому ряду «Лесь» украинской литературы (Костенко в этом ряду О. Забужко называла «третьей Лесей»), «чувственную, если не идейную принадлежность к советской культуре»⁸⁴, поскольку Костенко в своем творчестве выражает массовый оптимизм, присущий советской тоталитарной культуре и неспособность воспринять экзистенциально-трагическую проблематику национальной, то есть во имя нации, смерти и т.д.

В результате мы должны констатировать, что слабость философских и постколониальных дискурсивных позиций приводит украинский националистический феминизм к тому драматическому и неизбежному результату, что в настоящее время в украинской литературе и литературной критике в целом отмечается отход от феминизма. Не говоря о стремящейся всеми силами войти в украинский политический истеблишмент О. Забужко, даже альтернативная и маргинальная Н. Зборовская, которая первоначально являлась восторженным адептом феминизма в Украине в книге «Феминистические размышления» (1999), в своей последней книге «Код украинской литературы. Проект психологии новейшей украинской литературы» (2006) квалифицирует его как «сестробиство» (правда, со ссылкой на О. Забужко) и включает феминизм в ряд провокативных дискурсов, также представляющий основную угрозу украинскому аристократическому психотипу – наряду с американскими мультикультурализмом и постмодернизмом, а также и с российским империализмом в любых его ипостасях⁸⁵.

Эту общую ситуацию *гендерной тревоги* в украинской националистической феминистской критике можно объяснить, пользуясь словарем Р. Салецл. Она называет современную эпоху «эпохой беспокойства», особенностью которой является не известная в философии экзистенциальная тревога (*trouble*) (описанная Ж.-П. Сартром в «Бытии и ничто» и проанализированная Дж. Батлер применительно к политикам гендерной идентификации), а неэкзистенциальное беспокойство (*anxiety*), которое возникает не как следствие нехватки в струк-

туре субъекта в результате его отношения к Другому, а как следствие нехватки в Другом. Или, как пишет Салецл, «источником беспокойства для субъекта выступает не нехватка, а скорее отсутствие нехватки, т.е. сам факт, что там, где предполагается, что должна быть нехватка, наличествует некоторый объект»⁸⁶. Беспокойство как нехватка Другого («нехватка нехватки») как раз и выражается как банальная паранойя или страх внутренней угрозы, когда объект становится угрожающим – преследующим объектом мании преследования⁸⁷.

Возможно, в Украине на смену гендерной *тревоге* (когда так называемую тревогу вызывала объективная слабость украинского феминизма, отсутствие феминистских традиций и наличие жестокой патриархатной националистической репрессии) действительно приходит гендерное *беспокойство*, чья инновационная стратегия состоит, с одной стороны, 1) в признании факта феминизма в Украине с «времен оных» но, с другой стороны, 2) в факте отторжения феминизма как внутри националистической украинской феминистской критики, так и среди молодого поколения украинских интеллектуалок? В этом контексте, возможно, надо отказаться наконец от неререфлексивного «состояния постколониальности» в пользу сознательных стратегий постколониализма – в том числе дискурсов самопародии, постколониальной сатиры (С. Рушди) и дискурсивного анализа колониальной травмы, включающего в том числе и такие болезненные процедуры, как признание «участия в терроре и в ошибках своего собственного прошлого»⁸⁸?

-
- ¹ См. Богачевська Марта. «Націоналізм та фемінізм – одна монета спільного вжитку», *Незалежний культурологічний часопис "І"*, № 17, 2000, ст. 5-13.
- ² См. Bohachevsky-Chomiak, Martha. *Feminists despite themselves: Women in Ukrainian Community Life 1884-1939* (University of Alberta Press, 1988).
- ³ См. *Основи теорії гендеру: Навчальний посібник*, под. ред. В. Агеєва, Л. Кобелянська, М. Скорик (Київ: «К.І.С.», 2004).
- ⁴ Там же, с. 7.
- ⁵ См. Папич Жарана. «Национализм, война и гендер. Экс-феминность и экс-маскулинность экс-граждан экс-Югославии», *Гендерные исследования*, № 2, 1999, с. 5-23, Eisenstein, Zillah. *Hatreds: Racialized and Sexualized Conflicts in the 21st Century* (New York and London: Routledge, 1996), Nira Yuval Davis. *Gender and Nation* (London: Sage Publications, 1997), Rada Ivekovic and Julie Mostov. «Introduction. From Gender to Nation», in *From Gender to Nation*, in Rada Ivekovic and Julie Mostov (eds.) (Longo Editore Ravenna, 2002), p. 10-14, Vesna Kesic. «Gender and Ethnic Identities in Transition the Former Yugoslavia – Croatia», in *From Gender to Nation*, in Rada Ivekovic and Julie Mostov (eds.) (Longo Editore Ravenna, 2002), p. 63-80, Dasa, Duhacek. «“Gender

- Perspective on Political Identities in Yugoslavia” in Transition the Former Yugoslavia – Croatia», in Rada Ivekovic and Julie Mostov (eds.) *From Gender to Nation*, p. 113-130, Ирина Жеребкина. *Женское политическое бессознательное* (СПб.: Алетейя, 2002).
- ⁶ Термин Лилы Ганди, см. Gandhi, Leela, *Postcolonial Theory: a Critical Introduction* (New York: Columbia University Press, 1998), p. 5-8.
- ⁷ Агеєва Віра в *Основи теорії гендеру: Навчальний посібник*, под ред. В. Агеєва, Л. Кобелянська, М. Скорик, с. 453.
- ⁸ Забужко Оксана. *Notre Dame D'Ukraine: Українка в конфлікті міфологій* (Київ: Факт, 2007), с. 43.
- ⁹ Павличко Соломія. *Дискурс модернізму в українській літературі* (Київ: Либідь, 1997), с. 87.
- ¹⁰ Забужко Оксана. *Notre Dame D'Ukraine: Українка в конфлікті міфологій*, с. 43.
- ¹¹ См. список літератури в матеріалах *Круглий стол. Політичне воображаєме гендерних досліджень в Україні* в цьому номері журналу.
- ¹² См. Чернецький Віталій. «Протистоячи травмам: гендерно та національно маркована тілесність як наратив та видовище у сучасному українському письменстві», *Гендерна перспектива*, под ред. В. Агеєвої (Київ: Факт, 2004), с. 222.
- ¹³ Зборовська Ніла. *Код української літератури. Прект психоісторії новітньої української літератури* (Київ: Академвидав, 2006), с. 383.
- ¹⁴ Забужко Оксана. *Notre Dame D'Ukraine: Українка в конфлікті міфологій*, с. 43.
- ¹⁵ Зборовська Ніла. *Українська Реконкіста. Анти-роман* (Тернопіль: Джура, 2003), с. 6.
- ¹⁶ Там же, с. 32.
- ¹⁷ Забужко Оксана. «Вони питають, чи єсть у нас культура?», *Українська правда*, http://www.pravda.com.ua/news_print/2007/3/23/5615.htm.
- ¹⁸ Gandhi, Leela. *Postcolonial Theory: a Critical Introduction*, p. 5-8.
- ¹⁹ Ibidem, p. 3-4.
- ²⁰ Fanon, F. *Black Skin, White Masks* (New York: Grove Press, 1967), p. 221.
- ²¹ Gandhi, Leela. *Postcolonial Theory: a Critical Introduction*, p. 10.

- ²² Забужко Оксана. *Notre Dame D'Ukraine: Українка в конфлікті міфологій*, с. 55.
- ²³ Зборовська Ніла. *Код української літератури. Проект психоісторії новітньої української літератури*, с. 475.
- ²⁴ Забужко Оксана. *Notre Dame D'Ukraine: Українка в конфлікті міфологій*, с. 325.
- ²⁵ Зборовська Ніла. *Код української літератури. Проект психоісторії новітньої української літератури*, с. 92.
- ²⁶ Павличко Соломія. *Дискурс модернізму в українській літературі*, с. 238.
- ²⁷ Там же, с. 87.
- ²⁸ Павличко Соломія. *Націоналізм, сексуальність, орієнталізм: складний світ Агата Кримського* (Київ: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2001), с. 260.
- ²⁹ Павличко Соломія. *Фемінізм* (Київ: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2002), с. 276.
- ³⁰ Возняк Тарас. «А навіщо все це?..», *Незалежний культурологічний часопис "І"*, Число 33, 2004, тематизація «Гендер. Ерос. Порно».
- ³¹ Зборовська Ніла. *Код української літератури. Проект психоісторії новітньої української літератури*, с. 165, 226.
- ³² Павличко Соломія. *Дискурс модернізму в українській літературі*, с. 56.
- ³³ Павличко Соломія. *Націоналізм, сексуальність, орієнталізм: складний світ Агата Кримського*, с. 65.
- ³⁴ Там же, с. 253.
- ³⁵ Павличко Соломія. *Націоналізм, сексуальність, орієнталізм: складний світ Агата Кримського*, с. 129.
- ³⁶ Там же, с. 255-256.
- ³⁷ Там же, с. 56-57.
- ³⁸ См. главу «Крымский и Грушевский: история одной ненависти» в Павличко Соломія, *Націоналізм, сексуальність, орієнталізм: складний світ Агата Кримського*.
- ³⁹ Там же, с. 31-32.

- ⁴⁰ Гундорова Тамара, *Femina Melancholica: стаття і культура в гендерній утопії Ольги Кобилянської* (Київ: Критика, 2002), с. 220.
- ⁴¹ Там же, с. 154.
- ⁴² Там же, с. 225-226.
- ⁴³ Там же, с. 189-190.
- ⁴⁴ Там же, с. 48.
- ⁴⁵ Там же, с. 169.
- ⁴⁶ Там же, с. 21.
- ⁴⁷ Там же, с. 109.
- ⁴⁸ Там же, с. 112.
- ⁴⁹ См. Батлер Дж. «Меланхолийный гендер/отторгнутая идентификация» и «Начала психики. Меланхолия, амбивалентность, гнев», Батлер Дж. *Психика власти* (Харьков, СПб.: ХЦГИ, Алетейя, 2002), стр. 112-125, 136-158.
- ⁵⁰ См. Bhabha, Homi K. «Postcolonial Authority and Postmodern Guilt», in Lawrence Grossberg et al., (eds.) *Cultural Studies: A Reader* (New York: Routledge, 1992).
- ⁵¹ Батлер Дж. «Меланхолийный гендер/отторгнутая идентификация», с. 118.
- ⁵² Bhabha, Homi K. «Postcolonial Authority and Postmodern Guilt», p. 65-66.
- ⁵³ Ibidem.
- ⁵⁴ Ibidem.
- ⁵⁵ Батлер Дж. *Психика власти*, с. 15-16.
- ⁵⁶ Гундорова Тамара. *Femina Melancholica: стаття і культура в гендерній утопії Ольги Кобилянської*, с. 196.
- ⁵⁷ Как указано в аннотации, книга О. Забужко, *Notre Dame D'Ukraine: Українка в конфлікті міфологій*, раскрывает «код Леси Украинки».
- ⁵⁸ См. Gandhi, Leela. *Postcolonial Theory: a Critical Introduction*, p. 5-9.
- ⁵⁹ Зборовська Ніла. *Код української літератури. Проект психоісторії новітньої української літератури*, с. 487.

- ⁶⁰ Рыклин Михаил. *Свастика, крест, звезда. Произведение искусства в эпоху управляемой демократии* (Москва: Издательство «Логос», 2006), 208 с.
- ⁶¹ Зборовська Ніла. *Код української літератури. Проект психоісторії новітньої української літератури*, с. 40.
- ⁶² См. Забужко Оксана. *Notre Dame D'Ukraine: Українка в конфлікті міфологій*, с. 500-515.
- ⁶³ Там же, с. 402.
- ⁶⁴ Там же, с. 503.
- ⁶⁵ Там же, с. 327.
- ⁶⁶ Там же, с. 309.
- ⁶⁷ Зборовська Ніла. *Код української літератури. Проект психоісторії новітньої української літератури*, с. 92.
- ⁶⁸ Там же, с. 482.
- ⁶⁹ Там же, с. 371.
- ⁷⁰ Там же, с. 484.
- ⁷¹ Там же, с. 173.
- ⁷² Там же, с. 407.
- ⁷³ Там же, с. 17.
- ⁷⁴ Там же, с.18.
- ⁷⁵ Забужко Оксана, *Notre Dame D'Ukraine: Українка в конфлікті міфологій*, с. 365.
- ⁷⁶ Там же, с. 396.
- ⁷⁷ Там же, с. 86.
- ⁷⁸ Там же, с. 445.
- ⁷⁹ Там же, с. 10.
- ⁸⁰ Там же, с. 605.

- ⁸¹ Павличко Соломія. *Фемінізм* (Кив: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2002), с. 227.
- ⁸² Зборовська Ніла. *Код української літератури. Проект психоісторії новітньої української літератури*, с. 497.
- ⁸³ Там же, с. 474.
- ⁸⁴ Забужко Оксана. *Notre Dame D'Ukraine: Українка в конфлікті міфологій*, с. 60.
- ⁸⁵ Зборовська Ніла. *Код української літератури. Проект психоісторії новітньої української літератури*, с. 473.
- ⁸⁶ Salecl, Renata. *On Anxiety* (London&New York: Routledge, 2004), p. 23.
- ⁸⁷ Ibidem, p. 99.
- ⁸⁸ См. Gandhi, Leela. *Postcolonial Theory: a Critical Introduction*, p. 8.